

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕСЯТКА

Сборник современной прозы и поэзии

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Клавдия Смирягина Дмитриева

Влад Васюхин

Маргарита Ротко

Игорь Козин

Александр Коковихин

Нора Никанорова

Татьяна Китаева

Сергей Шаргунов

Леонид Шустерман

Ольга Донец

Светлана Ос

Джон Маверик

Георгий Янс

Игорь Джерри Курас

Наталья Малинина

Евгений Орлов

Иван Белецкий

Светлана Ширанкова

Нина Ротта

Ольга Семенова

Константин Семенов

**Макс Акинъшин
Илона Муравскене
Анна Агнич
Темур Варки
Зинаида Пурис
Виталий Щигельский
Иван Зорин
Вероника Сенькина
Сергей Удалин
Наталья Анискова
Татьяна Архангельская
Великолепная десятка:
Сборник современной
прозы и поэзии**

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71694106

SelfPub; 2025

Аннотация

Этот сборник – итог Первого открытого чемпионата по литературе. Необычный литературный конкурс проходил на сайте газеты «Московский комсомолец» в рамках проекта «Сетература» в формате футбольного первенства Европы или мира: отборочный и групповой турниры, плей офф. В состязании приняло участие более 500 авторов из ближнего и дальнего зарубежья.

Помимо двух победителей чемпионата, была названа «десятка» поэтов и прозаиков. Именно они составили две «десятки» сборника. В третью «десятку» вошли произведения членов жюри. А все вместе, участники и судьи, составили великолепную «десятку». В названии сборника нет никакого преувеличения. Прочитайте и убедитесь.

**Георгий Янс, Светлана
Ширанкова, Александр
Коковихин, Евгений Орлов,
Иван Белецкий, Вероника
Сенькина, Клавдия
Смирягина Дмитриева,
Нора Никанорова,
Светлана Ос, Татьяна
Архангельская, Темур
Варки, Влад Васюхин,
Игорь Джерри Курас,
Наталья Малинина,
Игорь Козин, Маргарита
Ротко, Татьяна Китаева,**

Великолепная десятка *Сборник современной прозы и поэзии*

Предисловие

Этот сборник – итог Первого открытого чемпионата по литературе. Необычный литературный конкурс. Чемпионат по литературе проходил на сайте газеты «Московский комсомолец» в формате футбольного первенства Европы или мира: отборочный и групповой турниры, плей-офф. В состязании приняло участие более 500 авторов. Конкурс в полной мере получился открытым. За исключением Грузии, Армении, Узбекистана и Таджикистана, остальные бывшие республики СССР были представлены в литературном соревновании. География дальнего зарубежья тоже выглядела весьма разнообразной. Это уже традиционно привычные авторы из США, Германии, Израиля, Канады, Австралии. Но есть страны, жители которых более редкие участники литературных конкурсов – Англия, Дания, Швейцария, Норвегия.

Помимо двух победителей чемпионата, была названа «десятка» поэтов и прозаиков. Именно они составили две «десятки» сборника. На любом конкурсе всегда возникает вопрос: «А судьи кто?» Не знаю, как у других, судьи нашего чемпионата в большинстве своем талантливые авторы. В третью «десятку» вошли произведения членов жюри. А все вместе, участники и судьи, составили великолепную «десятку». В названии сборника нет никакого преувеличения. Прочитайте и убедитесь.

Поэзия

Светлана Ширанкова. Апокалипсис в картинкахг.

Москва, Россия

У неё внутри звенят золотые гаечки...

У неё внутри звенят золотые гаечки, гомонят бубенчики, шепчутся шестерёнки.

К девяти утра в палату приходит нянечка, начинает мыть полы и менять пелёнки.

Из-за двери тянет хлоркой, тоской и плесенью; надо ждать, глотать лекарства, считать тик-таки.

А настанет вечер – спустится с неба лесенка, и по ней по-скачут львы, козероги, раки.

Дили-динь-динь-дон – ступеньки поют под лапами, голубой телёнок тычется влажным носом...

А врачи кололи руки, светили лампами, подарили куклу (у куклы такие косы, как у мамы), ввали: мамочка стала ангелом и теперь живёт на самой пушистой тучке.

А она на всякий случай кивала – мало ли? – и смеялась: трудно, что ли, соврать получше?

В циферблате солнца зреют минуты-семечки. Бубенцы в груди лишились последних звуков.

Часовщик, кряхтя, встает со своей скамеечки, близоруко щурясь, тянется острой штукой,

улыбаясь, гладит стрелки – щекотно, весело... рядом с ним крылатый кто-то выводит гаммы...

Ей сегодня можно будет взбежать по лесенке и пройтись по тучкам: вдруг там и вправду мама?

Дом у дороги

Линия фронта пересекает город,

Каждые сутки переползая ближе.

Вечер привычной хваткой берёт за горло:

В «Дом у дороги» сходятся те, кто выжил.

Ночь, просыпаясь, тощую спину горбит

На черепичной крыше.

Дженни стоит за стойкой, звенят бокалы;

Нынче её коктейли излишне крепки.

Тридцать девятый день, как отца не стало.

Дженни всё время чудятся звуки скрипки,

Взгляд паренька напротив подсвечен алым

И неприятно цепкий.

Сквозь отдаленный грохот – взлетают «Стелсы» –

В бодром чужом похмелье не слышно фальши.

Из автомата – песенка Боба Уиллса:

«Губы такие сладкие...» – как там дальше?

Папа любил танцульки, пока не спился...

Дженни сегодня спляшет.

Падре Филиппе перебирает чётки:

Actus Fidei, Gloria, Pater noster[1].

Блудные тени к окнам приникли чутко,

Запах земли и серы щекочет ноздри.

Парень напротив щурится из-под чёлки,

Тянет табачный воздух.

Было б хоть страшно, что ли... всего лишь тускло.

«Завтра» не будет, нет никакого риска.

Рушатся горы, реки меняют русла,

Море штурмует Бостон и Сан-Франциско.

Дженни прикончит пачку медовых мюслей

И полбутылки виски,

После запьет свой ужин остывшим чаем

Из разноцветной чашки с отбитым краем.

Море идёт к Техасу под вопли чаек.

Ангел напротив Дженни звенит ключами

От нежилого рая.

Баллада о проходящих мимо

Нарочито подробное и нарочито скучное описание обстоятельств героя: три комнатки, кухня, прихожая...

(с) Стругацкие

Она пережила своих детей,

супруга, двух любовников, трех кошек,

войну, пятнадцать лет очередей,

комплект белья в веселенький горошек,

которому, казалось, сносу нет

(трофейное, еще из Бранденбурга),

аппендицит – и пляшущий ланцет

в руках у в стельку пьяного хирурга

(а может, и не пьяного – как знать.

А шрам... ей-богу, шрам – такая малость),

железную в амурчиках кровать –
она в квартире в Киеве осталась,
когда пришлось уехать в Астану, –
на ней в последний день зачали Мишку;
до ужаса холодную весну,
барак, бронхит у младшего сынишки,
нелепой смерти призрачную пасть
(но бог отвел, заняв счастливый случай),
любовь, надежду, чувственную страсть,
святое материнское и сучье,
развод, потом попытку повторить –
удачную... почти... свекровь-мегеру,
и, если уж о боге говорить, –
неверие и истовую веру,
а после – равнодушное «никак»
бензиновым пятном по мутной луже,
когда в душе и в комнате бардак,
и новый день не лучше и не хуже
того, что был – вчера? позавчера?..
Пережила. Смогла. Перетерпела.
Крест-накрест пеленают вечера
изрядно поизношенное тело,
в котором лица копятя на дне –
любимые, знакомые, чужие,
настойчиво маня её вовне,
за грань, к нездешним долам и вершинам,

грозя обрушить хрупкое жильё.
Она чуть свет уходит прочь из дома –
на рынок, в магазин «Чулки – бельё»,
к метро, на площадь возле гастронома –
и там стоит подолгу, просто так.
Ей мелочь иногда к ногам бросают,
разок хотели натравить собак...
А прошлое глядит её глазами
на яркое безумное «сейчас»,
пытаясь ощутить, проникнуть, слиться,
поймать рисунок жестов или фраз,
да без толку. Останкинская спица
надёжно глушит радиоэфир.
Иди себе, не всматриваясь, мимо:
статистом в маске, вытертой до дыр,
участником безликой пантомимы,
но только не... Почувствовал укол?
Ещё не поздно – отвернись, не надо!..
Её рука поднимется легко –
прикрыться от назойливого взгляда,
но ты уже срываешься во тьму,
в бесчисленные сонмища людские,
собой пополнить местную тюрьму –
безводную и мёртвую пустыню.
Рванёшься, будто пленник из оков,
почуявший в металле призрак фальши,

прибавишь шаг, ещё – и был таков,
подальше от... неважно, но подальше.
Но часть тебя останется во мгле,
дрожа от жути, холода и смрада,
на небывалой выжженной земле
среди таких же проходивших рядом.

Евгений Орлов. Остаточные явленияг. Рига, Лат-

вия

1. Фиговая грусть

до свидания птица колибри
крибле крабле естественно бумс!
от меня уплывают карибы
и срывается в небо эльбрус
скарб волшебника: скатерть да шапка
сапоги да четыре стены...
до свидания рыбка и рябка
наши сказки уже сочтены
до свидания пик альтруистов
до свидания жизнь-ананас
судным днем дожидается пристав
крибле крабле естественно нас
смерть волшебника проще простого
загадал – и исчез в облаках
но сначала – волшебное слово
и ресницами взмах только взмах

2. Безлюбье

✱

вот и ходишь по сну моему – незвана непрошена
на претензию мягко мне так говоришь: подсознание...
прошлой ночью влюбился в принцессу глазища гороши-
нами

обошел со спины и увидел твое изваяние...
появляясь под утро хихикаешь сдавлено сдержано
над моим увлечением новым – парением в космосе
я и так гермошлем потерял провода перерезаны
потерял говоришь ты не шлем а наверное голову...
но однажды и сна оказалось тебе недостаточно
сорвалась с языка при невыясненных обстоятельствах...
так у господа сделан христос из явлений остаточных
одионочества гордого голого дикого страшного...

✱

и хочется жить и колется смерть
и в окна с околицы пялятся раки –
им скоро краснеть и у каждого злака
в глазах очевидная тяга созреть...
безлюбье мое! не грызи не кори
за то что дряхлеешь со мной год от года –
я сам бы тебя придушил до зари!
но я и лягушку не в силах убить
а ты к сожалению тоже – природа!

*

все меньше зависти к целующимся парам
рассыпанным по парку как драже
я врал что никогда не стану старым...
уже

3. Я точно знаю время...

я точно знаю: время – не течет
ни под какой ни под лежащий камень
оно как чай заваренный в стакане
густеет наливается и ждет...
бывает...

бывает день набух как черный лист
и утонул – да будет он неладен!
бывает чист как будто свыше даден
поверхностен как молодой брассист
на глади...

ах
как уютно знать что ты – профан
в том сорте чая что тебе заварен
и добавлять заветных тридцать грамм
в любую гадость божьих чаеварен!
хмелеть...

хмелеть от грога легкого тянуть
тянуть по капле как состав по рельсам
и знать что вот – допрешь когда-нибудь...

да черт с ним с чаем! главное – согреться!
как трудно быть гурманом и томить
себя каким-то нудным ожиданием
что вот-сейчас-наверно-может-быть
он настоится – поздно или рано...
но – нет
и счастья – нет! и не подписан счет –
то слишком ярок чай то вкус – насмарку...
я точно знаю: время – не течет
оно меняет пьющих...
и заварку.

Иван Белецкий. Флавийг. Краснодар, Россия
Flavius

Это не опыт, а школа смотреть вовне.
То есть не возраст, а медного стиля сила.
Дальше – густая слава и жизнь, в длине
чуть не достигшая Ноя с Мафусаилом.
Молод еще, он недавно решил свою,
названную в честь него самую задачу,
смысл которой – видеть, как раздают
шансы с виной и т.д. и т.п. в придачу.
И убеждает собственный плоский меч,
между позором и превосходной твердью
выбравший неоднозначность, дабы сберечь
что-то, звучащее громче уместной смерти.

Песок

Небо, должно быть, темнело, пока
он обдумывал варианты своей обиды,
предпосылки для светской мести,
сваренные вкрутую, вышедшие из стиля,
сваленные в одно замечания.

История скверная: история про умы,
видящие в пристрастиях почерк, а в счастье – шутку
и не туда попавшие. Что там обычно
говорят в таких случаях: хвост играет лисой?

Но не зима, и не замерзла прорубь –
слева приметы моря, справа земли приметы,
Сланцевая поверхность трескается под ногами;
хочется пить. Нечто вроде пустыни.

Двигаться лень. Духота. Вдали как будто верблюды,
но скорее мираж. Песок переносит песок
по песку. Становятся неразличимы
чувства: что с той любви, когда
песчаная фауна растаскивает по колодцам
море, и небо, и сложенные в преграды
кости ящеров? И что с этой скуки, если
жертвуешь связностью
ради дорожки к цели?

Достоверность – приятное свойство,
присущее некоторым людям и некоторым предметам.
Нет превращений, никаких тебе превращений,
только непостоянство. Одна забота – беречь

это непостоянство.

Как мастерам невидимых изменений
нам, вероятно, видно, что впереди.
Гордость растёт, старательно времена
и превращаясь в нечто без перспектив.
Нам угрожает ветер. Ветер шумит поверху.
Ждут минералы. Копится похвала.
Ты представляешь сущее – опись веток
или прожилок, с фоном из барахла?
Страхи описаны нам постольку-поскольку.
Сходят с пустого места как, например,
и с человека. Необъяснимо долго.
Но остаются – в том числе и в уме.
То есть вцепиться в то, что ещё осталось
и ученически скалиться, видя дым,
то, как себя рисуя, трясутся скалы
или чужую карту большой беды.

Александр Коковихин. Предчувствие полетаг.

Йошкар-Ола, Россия

Цыганка

Отвали от меня, цыганка!

А не то нагадаю сам.

Сколько медленных полустанков
протечёт по твоим усам...

Сколько кашля в елецкой «Приме»

насчитает казённый дом...

Все дороги туда. Не в Рим же.

Не очухаешься потом.

Будет брать тебя каждый прыщик

из конвойных и палачей.

А король твой червивый сыщёт

хохотушку погорячей.

Твой сынок, твой угонщик ловкий,

в пьяной драке поймает нож...

Отвали от меня, чертовка!

Напророчу – не разгребёшь.

В диком субтропическом лесу

...В диком субтропическом лесу, неказист и несколько приземист,

обитал потомственный туземец с бельевой прищепкой на носу. Может,

племя вымерло давно или мать от родичей отбилась...
Жил себе,

пожёвывая силос, и считал, что так заведено: утром просыпаться

от росы, выпав из дупла, невольню охоту, рыбину насаживать на

ноготь – из ручья, не замочив трусы; прочитав по тёплым следам,

что опять забрёл с проблемой пищи незарегистрированный хищник,

сочинять бамбуковый капкан; раздувать от молнии костёр
или греться

в ритуальном танце, на мигалки орбитальных станций, то
есть к богу,

устремляя взор; вечером, прослушав какаду, думать, что
его не

переспоришь...

...Крепко спит под пальмой новый сторож в старом бота-
ническом саду.

Предчувствие полёта

В старости

нет вопросов

к своей отчизне.

Скоро взлёт.

Ты – шарик.

Тебя надули.

(Если доктор

даст две недели жизни,

надо просить в июле)...

Нет, кроме смерти,

какой-то другой

свободы.

Можно всмотреться,

сделать ещё попытку

и разглядеть,

как в небо

с восторгом уходят
шарики-души
тех,
кто ослабил нитку...

Вероника Сенькина. Вдох и выдохг. Москва, Россия
Я не остыла...

Я не остыла – просто
устала драться.
Я не люблю ни шахматы,
ни корриду.

Раньше? Так раньше, рыцарь,
мне было двадцать.

Всё было как-то проще:
и вдох и выдох...

К музыке я, конечно,
неравнодушна,
просто нечасто слушаю
«хэви металл».

Мне бы такое что-нибудь
повоздушней,
что-нибудь повальсовей...
ага, вот это...

Милое «раз, два, три»
ностальгией бравой,
острым клинком пронзит
временную бездну.

Штраус, Вы, как всегда,
оказались правы:
жить – это очень больно,
но интересно.

Первое января
приведёт второе,
третье, потом четвёртое,
как по нотам.

Каждой эпохе памяти –
по герою.

Каждой жене Артура –
по Ланцелоту...

Снова зима похожа на ту...

Снова зима похожа на ту: точь-в-точь,
только тогда и мама жила и дед...

С маминых губ слетавшее слово «дочь»
было дороже света, нужней побед
всяческих, переполненных волшебством.

Нынче же чудеса меня – не берут.

Всё по-другому стало: и дом – не дом,
ждут меня больше там, где меня не ждут...

Всё изменилось: милости божьей нет
с той стороны, где жажда по ней сильна.

Как же мне ясно снится ночами дед!

Как же я мало им наяву жила...

Холодно, мама, холодно, хо-лод-но...

Зябко-то как, согреться бы, осмелеть.
Страшно-то как бороться со мглой одной,
и заблудиться – страшно и заболеть,
и оступиться... мыслимо ли: след в след
долго идти – не выйдет: хоть стой, хоть плачь.
С той стороны, где милости божьей нет,
каждый себе – и плакальщик
и палач.

Пресс-папье в виде рыбки...

Пресс-папье в виде рыбки и... шёлковый абажур...
Трубка падает навзничь на свеженький ламинат –
Надеваю шузЫ и в прошлое ухожу,
Где я рада тому, кто мне обоюдно – рад.
Напролом, сквозь лекарственный запах и едкий дым
Жженных пятниц и сред, разгоняя руками ос.
Чумовая реальность врёт. И грызут кроты
В черноземье тугие корни цветущих роз.
И я вроде как здесь жила уже и была,
Но не те занавески на окнах не тех домов
Улиц тех же... Как больно близкое забывать,
Если ты на такие подвиги не готов...
Я не знаю, который час, но почти бегу
(мне опаздывать доводилось, теперь – ни-ни!)
Из машины грохочут «Яблоки на снегу»,
Променявшие так легко на цифру – винил...
Жду трамвая (ну вот же рельсы!) – мне до Лесной.

Ан не ходит трамвай, откушайте сэляви!
Рельсы – есть, а трамвай не ходит, такой-сякой,
Так что коли есть бабки – действуй, такси лови,
И поймаю – мне очень нужно туда успеть,
Где я рада тому, кто мне обоюдно – рад.
Так как лучше всю жизнь о сделанном сожалеть,
Чем жалеть о несделанном тысячу лет подряд.

Клавдия Смирягина-Дмитриева. И это всё о ней...

г. Санкт-Петербург, Россия

Стрельчиха

Стрельчиха караулила зарю, синицею застыв оцепенелой:
ей утром обещали выдать тело, подвешенное в пыточной на
крюк, обрубленное катом неумелым и брошенное сверх сы-
рых дерюг.

Соколик, разве был он виноват? Опутали царевнины по-
сулы, она их, горемышных, всколыхнула...

Мол, каждый будет волен и богат. Да дух стрелецкий тре-
бовал разгула... Вот сдуру и ударили в набат.

Детишки на подворье у кумы. Наплакались, меньшому
только годик, одела впопыхах не по погоде. Куда податься,
кто возьмёт внаймы? Всё сгнуло, беда одна не ходит. Уви-
дим ли теперь конец зимы?

Стрельчиха караулила зарю. Но кровью напоённое свети-
ло, упавшее за кромку, как в могилу упившийся до чёрти-
ков бирюк, на небе появляться не спешило – оно давало вы-
спаться царю.

А царь не спал. Зарывшись с головой в лавандовую немкину перину, всё видел и не мог прогнать картину: Матвеева на копьях над толпой, за матушку убитого невинно, разъяленные рты, да бабий вой.

Сестра. Змея. Родная кровь. Сестра. С тяжёлыми мужицкими шагами, искусно раздувающая пламя, забывшая про бабий стыд и срам, играющая пешками-стрельцами. Так выжечь зло! Пора. Давно пора.

И Софья в Новодевичьем не спит, последние надежды провожая. Навек замкнулась клетка золотая. Какой позор? Какой девичий стыд? Повисла жизнь на ниточке у края. Монашеский клобук и мрачный скит.

Она ли затевала эту прю? А братец рвался к трону, как волчонок, настырный и припадочный с пелёнок. Пригрел вокруг себя рваньё, ворюг.

А ей смотреть из окон на казнённых...

.....
Стрельчиха караулила зарю...

Тише, девочка

«Мёрзнет девочка в автомате» (с)

А. Вознесенский

«Простите, Вы не могли бы позвонить и позвать к телефону одного человека?»

(реальная встреча на улице)

Что ты, девочка, не дрожи, не ломай голубые пальцы. Это просто старуха-жизнь полотно небелёной лжи растянула на

старых пятаках. Он тебе, говоришь, не лжёт, просто вас разлучили люди. Ах ты, милая, знать бы брод, ломок первый осенний лёд, а тепла до весны не будет.

Кто его караулит? Мать? Ну, давай телефонный номер. Как назвать его, как позвать?...

Мне сказали:

– Исчезни, б***, он для вас, потаскушек, помер.

Тише, девочка, не дрожи. Это поле – не поле битвы. Значит, больше не ворожи, спрячь подальше свои ножи, иглы, игры, таблетки, бритвы. Умер, стало быть – хорони! Проживи эту боль, как ломку. Знаешь, годы летят, как дни. Ты за шкурку себя возьми, ты – сама для себя соломка.

Ты – сама для себя вокзал, самолёт и дорога в небо. Ты забудь всё, что он сказал, губы, руки, его глаза. Ты реши, что он просто не был. Слёзы, девочка, не в цене. И цена у любви иная.

Он придёт. И не раз. Во сне.

Ты поверь, дорогая, мне. Потому что я знаю.

Знаю.

Розовое пальто

По улице задумчиво и грустно шагала лошадь в розовом пальто, надев поверх зелёного бурнуса кокетливое в рюшах решето. А ей навстречу свежий летний ветер бросал обрывки содранных афиш, и кошки, те, что знают всё на свете, сочувственно смотрели с низких крыш. Какой-то любопытный иностранец на мыльницу снимал её наряд, мальчишки

танцевали глупый танец, выкрикивая что-то невпопад. Брела под эти выкрики кобыла, и жалости, и смеху вопреки. Она сегодня утром наступила на розовые старые очки. И шла туда, где в створе узких улиц под пение ликующих цикад сумеет посмотреть без слёз, не жмурясь, на розовый торжественный закат.

Нора Никанорова. Осениг. Москва, Россия

Межа

Выщерблена. Надломлена. Боли нет.

Вышедшая за хлебом от зол и зрелищ –

Дышит ли по ком ещё там, на дне?

Смотрит ли ещё на кого сквозь щели?

Пепельная. Потерянная. Не зола.

Выбелена ветрами (согнать – не сдюжат).

Мёртвая, исковерканная земля.

Каменная. Ничья. Не душа, а туша.

Жги её, жаль, охаживай горбылём.

Соки тyani – вытягивай хворь и жилы.

Быть ей вовек заброшенной – топь и лёд.

Яма сама себе. А тебе – могила.

Капище никудышное. `Что богам?

Каждому – свет в горсти да краюху неба.

Не привыкать к удаляющимся шагам,

Медным гвоздям, кистям, километрам крепа.

Каждого – жаждою, гордостью из горла.

Хмель бестолков от зелья – слаба, солова.

Вон бы!

но

занавешены зеркала

Немостью взгляда над хрусткой холстиной слова.

Шоколадница

Октябрьский дождь без суеты.

Не выест глаз, но сердце выест.

Вот так и тянемся в скиты.

И не торопимся на выезд.

С камином в каменном дупле.

Бежать от одури туманной –

Цедить «Бордо», сидеть в тепле,

Смакуя дымности «гаваны».

А за окном... Да пусть его –

Пройдёт и он зубною болью,

Который зол – который год –

За понуждение к разбою

На горемычный календарь

(Как будто этот в чём повинен).

И вот уж пишет Лиотар,

Вздыхнув, название картины.

Мадам приносит шоколад.

Душа больна и просит яду.

А кто сказал, что там – не яд?

Кто сочинил сию балладу?

Осенний сплин. Осенний плен.

В его промозглой сердцевине
И лень писать, и думать лень
Над всякой подписью к картине.
Чистейший взор – чистейший вздор.
И словно в старое корыто
Октябрь накапает в фарфор
Миндальной фуги цианида.

Дым

Она приходит к нему ночами.
Целует волосы, гладит лоб.
В окошко курит. Включает чайник.
Даёт забыться. Берёт тепло.
И вышивает ему кисеты
– Собака чёрная греет бок –
Сама с собою ведёт беседы:
Мол, надо как-то сменить замок –
Ключи ржавеют. Ржавеют жала.
А прошлой ночью пропал клубок.
Она старуха. Она устала
Перелицовывать одеяло,
Взбивать подушки. Взводить курок.
Мелькают пальцы – в узлах артритных
Сокрыта вечность, которой нет.
На чёрном бархате: «Маргарита»,
«Сафо», «Офелия», «Нора», «Vita».
Рассвет слезится. Готов кисет.

Она уходит. Скамейка в парке –
Дощатый, крашенный в зелень трон.
Царицей сядет твоя кухарка.
Буханкой чёрствой. Кормить ворон.
И думать, думать... О том ребёнке,
Во сне зовущем тихонько мать.
Любовь откликнется тонкозвонно
В словах, которыми `должно звать
Туда, где кануло всё земное,
Где иней высох в седой песок.
И вместе сели бы с ним в каноэ –
На остров чёрный, на Вечный сон.
...А он стареет. А он находит
Везде мешочки, надеясь: там –
Конфеты, краски, июли, ноты...
А там – то пусто, то просто хлам:
И букв щепотки, и ветер в поле,
И пепел цвета молочных рек.
А он не знает, что жив и болен
Любовью – кровью на серый снег.
И вот он курит. И вот он дышит.
Тем самым светом, который – тот.
Мешочек славный: узорно вышит.
И день проходит. И ночь придёт.
...Она не станет греметь ключами –
Такая глупость. Людская блажь.

Шитьё приносит. Включает чайник.
Отдать надежды. И взять тепла.
...Рассветы-Леты-туманы-манны.
Шагнуть привычно в вороний грай...
Она старуха. Её романы –
Не знать романов, не строить планов,
Уйти до света. Одной. Румяной.
Оставить осень. Косу забрать.

Светлана Ос. Заведи себе врага. Москва, Россия
А на дальних берегах...

..А на дальних берегах,
Если сердце не из робких,
Заведи себе врага
В чёрной шёлковой коробке.
Пусть, свободою влеком,
Он скребётся в ней ночами
Под серебряным замком
За стальными обручами.
Утянув на дно свинцом,
Пусть сознание пьёт и волю,
Дышит пламенем в лицо
И шипами руки колет,
И во сне клыком кривым
Перекусывает вены..
Ты и он – две головы
Изумрудной Амфисбены –

Несвой в чужом миру,
Прочно сцеплены хвостами.
Всё играете в игру,
Всё меняетесь местами..

В садах его души

В садах Его души
Я – мёртвая вода.
Он дал мне эту жизнь,
А имени не дал.
Для стороны иной
Из контуров чужих
Он создал образ мой,
А сердце не вложил.
Он чёрной нитью строк
Зашил мои глаза
И вывел за порог,
А путь не указал.
Гнал от себя, как мог,
Держа что было сил..
Он свет во мне зажёг,
А тьмы не погасил.

Му-му

Вроде, легче гребётся и веселей
Под шуршание камыша!..
А у барыни руки – твоих белей
И чернее твоей – душа.

А у барыни – кружево по краям
Платья модного из джерси,
Мастерская багетная на паях
И расстроенный клавесин.
За потупленным взором – остра игла,
А за словом – стальной крючок, –
Не заметил и сам, как тебя взяла
Под серебряный каблучок.
Ты несчастлив, немолод и нехорош,
Ты живёшь невпопад, не всласть.
И прикажет она умереть – умрёшь,
Украдёшь – повелит украсть.
Хоть тебе это всё, как засову – ржа
И как ободу – колея...
Если жертвы и правда не избежать,
Что же... пусть ею буду я.
А по качеству идола и обряд –
Плюнь с досады через корму.
Если сердце сбоит столько лет подряд,
Надо действовать по уму.
Я – твой шанс отличиться, последний шанс.
Камень к шее вяжи смелей!
Видно, жизнь иногда убивает нас,
Чтоб не сделать ещё сильнее.
Вот и всё... Отдышись, отведи глаза,
На течение посетуй зло,

Развернись тяжело и плыви назад,
Пошевеливая веслом.
И не думай о том, что с рассветом – в путь
По долинам и пустырям,
Что тебе с этих пор не дано уснуть
Даже в стенах монастыря.
Что однажды откроется кровосток
На нательном твоём кресте
За тремя поворотами на восток,
На одиннадцатой версте.

Татьяна Архангельская. Нелинейное Нью Хэмпшир, США

Дряхлеют миры, а созвездия меркнут.
Но длится стремительный бег водомерки –
открыв нелинейного времени суть,
она не желает во мраке тонуть.
Сцепленье молекул. Блестящая плоскость.
А сверху и снизу – зияющий космос.
И твердь, толщиною с бумажный листок,
уже провисает под тяжестью строк...
И всё же – пиши безрассудные вирши!
Взахлёб суетись или мудрствуй, как риши.
Скользи одержимо по глади пруда.
Покуда опять не порвётся вода...

Наслаивался цвет – горчичный на зелёный,
пурпурный синевой немного отливал.
Менялся силуэт худеющего клёна,
вздыхался поутру хандры девятый вал.
И деревянных лет круги темнели мокро
на очень старом пне в растрёпанном саду.
И дом смотрел на мир сквозь вымытые стёкла,
мечтая улететь на юг. И стайки дум
скакали по земле, смешавшись с воробьями,
и пили свежий дождь из лужи не спеша.
Садовник-ветер мёл труху под тополями
прозрачную метлой. Озябшая душа,
накинув мягкий плед, молилась ли стихами,
молитву ль нараспев читала, как стихи,
на странном языке. Слова огнём вскипали –
и таяли, как снег, коснувшийся щеки.
Вздыхая сквозняком из подоконной ниши,
дом слушал, а к рассвету смежил шторы век
в каморке наверху, под самой-самой крышей,
где осенью болел хозяин-человек.
И мир поплыл во тьму, качаясь чуть заметно, –
похожей на ковчег медлительной ладьёй.
Шептались мысли всех мечтающих про лето,
пропитанных насквозь июньской синевой.
И миру снился сон – менялись все константы,
срывались кольца лет – легко, как береста.

И старый пень в саду очнулся в новом марте,
чтоб выпростать ладонь зелёного листа.

Это просто осколок остывшего некогда солнца,
на который налипло немного космической пыли...
Мы к нему беззащитно телами несильными жмёмся,
и не помним – зачем и за что нас сюда поселили.
Здесь давно появились шоссе, небоскрёбы, газоны,
космодромы, полярные станции... гелиостаты.
Но Земля до сих пор больше любит горбатых бизонов,
отвечая за тварь, приручённую ею когда-то.
Мы так долго боролись, мы крылья из воска лепили,
возводили притоны для тьмы и соборы для света.
И, питая надежду огнём бесконечных усилий,
рвали бешено пути чужой, нелюбимой планеты.
Но, устав от бесплодных исканий единственной двери,
постепенно мутируя, ближе к земле припадая,
бесконечное множество вер понапрасну примерив,
мы планету изгнания домом уже называем.
Лишь порой в полнолуние... Небо становится ближе...
В наши ноздри впивается звёздный мучительный запах...
Мы выходим из раковин, лунную радугу лижем,
бьём хвостами от боли – и горы становятся прахом.

Темур Варки. К.У.Э.г. Москва, Россия
Казашке
Говорят, нам не место в московской тщете-суете.

Ты в подлунной Орде родилась, я – у мира на крыше.
Дочь Великой степи, что мы здесь потеряли и ищем,
В этих джунглях бетонных, неласковых, в жирной черте
Кочевой неоседлости? Где наши седла с тобой?
Позабыты в Кыпчакской степи, где буран табунится,
Где примятый ковыль, и купается в нем кобылица,
И волнуясь, дрожит и щекочет нас влажной губой.
Там ветра ворожат. И сшибаясь, Тэнгри и Тобет[2]
Вечный бой продолжают и маками степь осыпают.
Прожил век волкодав, и набухшая морда тупая
Отступила. Волчица со стаей пришла на обед.
Не спасти нам табун. Нам самим бы уйти от клыков.
В новый век 21-ый врывается та же погоня,
Запах жертвы почуявши, бани кровавой и бойни.
Век продажи, кинжальных щенков и зыбучих песков.
Но, однако, недолгим союзом с тобой я горжусь.
Разве в дни роковые Москву не спасали мы джузом? –
Чтобы брови твои, нисходящие к точке союза,
Вовлекали Великие Луки в пленительный джуз.[3]
Помнишь утро охоты? – Пустили по следу борзых,
И летели два вихря в игре кыз-куу над снегами...[4]
Я тебя на подъеме, на скифском настиг арс-кургане,[5]
И едва не лишился меня мой согдийский язык.
Ты в февральской Москве подрумянила щеки слегка.
Мир опять изменен, перелистан и перелицован,
Но хотелось бы вновь оказаться под шубой песцовой,

Даже если опять я на время лишуся языка.
Я в трамвае за миг по снегам и векам пролетел...
И – свою остановку. Тебя же не выдал и мускул.
Мы могли бы с тобой рифмоваться на трепетном русском
И болтать и шутить о московской тщете-суете.
Слышишь, Урсула?..

Время сломалось, стуча пианолою Креспи,
И безрассудно бежит, спотыкаясь, по кругу.
Слышишь, Урсула, – звенящее соло испуга
По лабиринтам войны, сумасбродства и мести?
Порче подверглись и время, и климат, и нравы.
Страх и блаженство едва поспевают за карой.
В нашем Макондо сильны Мелькиадеса чары,
Но и они не спасают от прочих и равных.
Но и пергамент, где маятся чахлые тени
Тех, кто корпит над разгадкой, не видя разора,
Не просветляет безумно горящего взора
И не спасает родившихся от вырождений.
Все повторяется, только намного быстрее.
Дети и внуки твои пробегают по нотам.
Косят толпу обезумевшую пулеметы
Так, что не помним и знать не хотим о расстреле.
Помнящих в нашем Макондо лишают рассудка.
Помнящим в нашем Макондо стреляют в покрестье.
Здесь, как вчера, – понедельник и добрые вести,
Что родила от хороших людей проститутка.

Здесь, как вчера, обещают дома ветеранам
После дождя, что начнется в четверг, по прогнозам.
Дождь тот продлится лет пять, и достанутся ВОЗу
Те, кто еще не успел в непечатные страны.
В нашем Макондо за миром иным не угнаться,
Пусть там чудесное время течет без ошибки.
Сын твой, Урсула, из золота делает рыбки,
Из одиночества, и получая 17,
Плавит и делает снова, себя не жалея
И не желая себе ничего за страдания,
Что причинил он свободе, добро насаждая
Тем беспощаднее, чем становилось страшнее.
Слышишь, Урсула, – во лжи оглушительной ложа
В невыразимой тоске, в неугаданном плаче,
Тьма муравьиная съела наш страх поросячий,
Так на любовь одиночеств к подобным похожий.

По следам Эвридики

Чинно ли, суматошно,
Каждый в делах своих,
Едет Москва в метрошный,
Едет Москва в Аид.
На смертоносных трактах,
Линиях несудьбы,
Больше самих терактов –
Страх получить гробы.
Здесь ты, я знаю точно.

В том ли вагоне, том?
В городе суматошном
Спим мы с тобой вальтом.
И в подземелье этом
Сколько, не знаю, лет
То ли иду по свету,
То ли иду на свет.
Свет, о который, знаю,
Бился змеиный яд.
Где ты, моя родная?
Где ты, душа моя?
Там, на верху далеком,
Где хохотала ты,
Солнце – не кареоко,
Весны мои – пусты.
Мне не хватает друга
Ближе, чем Дионис.
Жду, на последнем круге
Скажешь мне: обернись.

Влад Васюхин. ***г. Москва, Россия**

Памяти Сезарии Эворы

Бабушка Сезарушка
пела, утешала,
души наши черствые,
словно хлеб держала.
Не барьер – наречие,

если всем близка
эта африканская
русская тоска.

«Полюшко-поле,
полюшко-широко поле...»

Диву босоногую
в золотых цепях
слушал я, не пряча
слезы второпях...

Рыбный рынок Риальто Из цикла «Итальянская
тетрадь»

Денису Крупене

Ненавижу рыбный рынок!

Пусть свежи и пусть прекрасны
его влажные соблазны –
от тунца до мелких рыбок,
от креветок до омара,
гребешков и осьминога.

Пусть их вдоволь, пусть их много,
все – из моря, без обмана.

«Почему вы, господин,
не желаете сардин?»

Я когда их утром вижу,
слышу крик: «Frutti di mare!»,
мне что много их, что мало...

Ненавижу, ненавижу!

«Ты в уме ли, в самом деле?
Ты на кухне не был робок...»
«Я, увы, живу в отеле —
ни кастрюль, ни сковородок.
Ну куда с унылым рылом
поташу улов напрасный?..»
Шел туда я, как на праздник...
Ненавижу рыбный рынок!

Баллада о чертенке

Кто помнит Джакомо Капротти,
что был кудряв и плутоват?
Его хозяина напротив
поныне вспомнить всякий рад.
Еще бы! Это сам да Винчи.
Универсальный человек,
чей гений тщательно довинчен,
чей нимб нисколько не поблек.
А он, родившийся в сарае
смазливый сын обувщика,
известен прозвищем Салаи —
Чертенок. Это — на века.
Возможно, большего бастарда
еще не видел белый свет.
Как в подмастерья к Леонардо
попал такой вот с юных лет?
Да Винчи знал, что у салаги

имелась тяга к воровству,
однако чудному Салаи
прощал все, словно божеству,
за губы, что нежней настурций,
о чем известно не из книг.

Он был наложник и натурщик,
сердечный друг и ученик.

А вот и новость для бомонда:

теперь уже сомнений нет,
что знаменитая Джоконда –
Чертенка милого портрет.

Он был обласкан и облизан,
он гордо принял свой удел:
«Да не видать вам Мона Лизы,
когда б я платье не надел!»

Ну что ж, на этом повороте
оставим Джакомо Капротти.

...Не знаю, может, это враки,
но ровно пять веков назад
его убили в пьяной драке.

Чертенок опустился в ад.

Памяти Анны Жирардо

Все забыла – от и до –
перед смертью Жирардо.

Села в черное ландо,
хохотнула: «А бьенто!»[6]

Опустевшее гнездо...

Поминальное бордо...

«Ну а ты пока играй!

Будет каждому свой рай».

Игорь Джерри Курас. Полоумный звездочётг. Бостон, США

Какой-то полоумный звездочёт

немыслимо растрёпанной вселенной

напутал всё, и вот ко мне течёт

то локоть твой, то локон, то колено.

Мне был твой лоб (прекрасен и округл)

явлён, как чудо, – и губами гладил.

Ты отвернулась – я прижался сзади:

держал в руках.

Не выпускал из рук.

Я был с тобой, как будто был всегда.

Как будто так замыслилось издревле:

и мы, грехом сроднённые во древе,

и змей, и плод. И смертная судьба.

Мы задохнулись, умерли. В садах

испуганные встрепнулись птицы.

Кружась, они боялись опуститься

туда, где мы.

Я здесь.

Иди сюда.

Иди ко мне, пока ещё шаги
сурово не приблизились, и посох
едва правой шагающей ноги
ещё не прорезает землю косо.
Иди, пока не взвилась борода
внезапно запрокинутая ветром.
Пока ещё не требуют ответа,
иди.

Иди ко мне.

Иди сюда.

С точки зренья шмеля в середине цветка,
изогнувшего стебель дугой,
даже этот, ничем не приметный закат
зреет каплей нектара тугой.
Чтобы только остаться один на один
с неразгаданной формулой дня,
чтобы тени длиннее: суровых осин –
и моя, с точки зренья меня.
Под бумажным плафоном, на ощупь, едва –
то сплавляла меня, то звала;
и мозги мне запудрила напрочь, и два
бутафорских прозрачных крыла.
И не мог ни взлететь, ни поднять головы,
ни подумать: хочу ли ещё?
Три листа распластались. Лесные стволы

сплетены ядовитым плющом.

Как пять пальцев своих я тебя изучил,
след росы на руке сладковат.

Пусть на ощупь, как шмель – только хватит ли сил
сквозь ничем не приметный закат?

Чтобы восемь часов на исходе витка
потянулись нектаром тугим.

С точки зренья шмеля в середине цветка;
с точки зренья меня перед ним.

Кленовый свод, побитый синевой –
весь лес повис в росе и птичьем свисте.

И гусеницы – там, над головой,
(клянусь, я слышу!) поедают листья.

Прими меня: как солнце, как росу;
прими меня, как сладкую микстуру
лесной травы. Прими меня в лесу
за волка. Приручи, и волчью шкуру
примни на мне, как приминают мох,
на шею мне набрось свой узкий пояс –
и я пойду с тобой, и, видит Бог,
у ног твоих я лягу, успокоюсь.

Марлен

Wenn die Soldaten

Durch die Stadt marschieren

Марлен, Марлен! Отмеряно у тлена

мгновенье только. Серебрится пена:
воды не жаль, и веников не жаль.
И мыльная всплывает гигиена
на киноленте Лени Рифеншталь.
Там мальчики немецкие. Хрусталь
воды озёрной, и луга, и сено.
Вот, есть ещё плечо – и есть колено;
глаза пока глядят и смотрят вдаль.
А там, вдали – окопы и гангрена,
огонь, геенна; чернозём и сталь.
И никому не выбраться из плена.
Марлен, Марлен! К чему моя печаль?
Бостонская элегия
«Подождите: Лермонтов, значит, мучитель.
Тютчеву – стрекозу;
с одышкой – Фет».
Лазарь Моисеевич – старый учитель
на скамейке с ворохом русских газет.
На скамейке в бостонском парке.
Над речкой
пахнут незнакомо чужие кусты.
Строго через мост – к остановке конечной
красные вагончики едут пусты.
Вдоль по небу ходят тяжёлые тучи,
отражаясь пятнами злыми в реке.
А старик бубнит на великом, могучем,

никому не нужном своём языке.

Памяти В.М.Л.

Заметил ты, как схожи невольно
с огнями звёзд окошки городские?

Как серебристы млечных эстакад
огни потусторонние, пустые?

Как удивлённо с угасаньем дня
меняется пространства перспектива?

Как горизонта линия плаксива?

Закрой глаза, смотри – она в огнях.

Погаснет день: поблёкнув, догорят
все звуки голосов, слова простые –
река покроет рябью всё подряд,
и фонари застывшие остынут.

Смешаются в одном предсмертном сне
с огнями звёзд, и с огоньками окон
и день, и ночь; и бабочка, и кокон –
закрыв глаза, увидишь их ясней.

Вдоль серебристых млечных эстакад
в последнем сне за горизонтом тая,
заметишь ли, как схожи невольно
и яркий свет, и темнота слепая?

**Наталья Малинина. Распахнутое время в садг. Яро-
славль, Россия**

В сениях

Там – седоков заждавшись юрких,
Припал к стене велосипед;
Там – на щеке моей дочурки
Варенья вороватый след;
Там – переложенных соломой
Созревших яблок аромат.
В сенях родительского дома –
Распахнутое время в сад.
...Постиран лёгкий сарафанчик –
С бретелек капает на руль,
А под окошком бродит мальчик;
Усну ль?

Дрожит в оконце луч упрямый,
И вижу я в дверной просвет –
Мелькает между яблонь мама.
Которой нет.

И ты

– Мама, бабушка умерла навсегда?
Навсегда-навсегда?
Даже если громко заплакать?
Даже если на улицу – в холода –
без пальто, босиком, ну... совсем... без тапок?
Даже если дядь Борин вреднючий Пират
вдруг сорвётся с цепи и меня укусит –
всё равно она не придёт меня обнимать,
пожалеть, полюбить, пошептать: «Не куксись,

всё до свадьбы, увидишь, сто раз заживёт,
вот поверь мне – нисколько не будет больно...
Слушай сказку, золотко ты моё,
про жука с Дюймовочкой... И про троллей...
Скоро папа должен прийти,
Разберётся, ужо, с дядь Борей.
Ишь, наделал Пират историй:
покусал ребёнка, помял цветы!
– Мам, а ты не умрёшь навсегда?
Я без тебя спать не буду, играть и кушать...
– Никогда не умру... Не верь никому, не слушай.
– Мам, и я не умру?
– И ты.

Где мама пела

Брату

Горел в печи огонь, она гудела –
В том доме под горой, где мама пела.
Тянул в окошки сад свои ладони,
Локтями опершись о подоконник.
Под жаром утюга горячкой спелой,
Простынка с чердака слегка хрустела,
И выпускала дух в горячем паре:
Ласкался к ней утюг в хмельном угаре...
Ты был ещё так мал, но неумело
Тихонько подпевал, и мама пела...
О ржи, о васильках, о женской доле,

О ласковых глазах красотки Оли,
О смерти, о любви... Но в том и дело,
Что мне не повторить, как мама пела...
От этого родства куда нам деться?
Кисельны берега парного детства...
Где сад глядит в окно – морозно-белый.
Где жар над утюгом.
Где мама пела.

Из другой главы

Тихий голос моей любви так и не был тобой услышан.
На ладони твои легли лепестки облетевших вишен.
Белой замаятью – те слова, что цвели, да на землю пали!
...Ненаписанная глава молчаливой моей печали:

залит солнцем вишнёвый сад – узловатых стволов узоры,
где бликующий долгий взгляд и застольные разговоры
меж деревьями – о стихах, о растущих цветах и детях,
где моё счастливое «а-ах!» и твоё «больше-всех-на-свете»;

впереглядку – душистый чай, вперемешку – поток признаний

с поцелуями невзначай на смешливом хромом диване;
где сбывается тайный сон – задохнуться в тугих объятьях,
где прерывистый тихий стон объявляет «нон грата» платью.

...Мелких пуговок стройный ряд устоит под твоим напором,

но трофеем в сражение скором упадёт мой дневной наряд.
...Где в упругом согласье тел приоткроется суть сиаинства,
где шмелёвому постоянству – лип дурманивший беспредел;

...где залиvistый смех воды в час полива над садом грянет –

где ещё не боюсь беды, что не в этой главе настанет.

Анданте Фавор`и

Я мечтаю, как будет у нас когда-то:
на веранду пройти... И задёрнуть шторы;
... neither slow nor fast ... анданте,
... и чтоб брызгали соком упругие помидоры...

Рыжих зёрен такие смешные капли,
словно ноты, на чёлке твоей повисли;
я читаю мелодию – в такт ли, так ли? –
и смолкают ненужные нам и слова, и мысли.
«Ларго, ларго, адажио, ленто, ленто» –
не спеша, не смущаясь родства с природой,
мы с тобой приручаем свою планету,
как зверька никому неизвестной ещё породы;
и себя изучая – на вздрог ли, на вздох, наощупь,
сочиняем неспешно анданте своё – «Amore»;
наши тени сольются, и станет, конечно, общей
Апп`ассионата, зач`атая в фа-мажоре.

Игорь Козин. БабочкаРоссия

экспонат

давно была остра отточена
звезды сияния игла
безмолвием холодной ночи но
достигнуть цели не могла
и был напрасен проникающий
светостолетия укол
её пока поэт гуляя и
мечтая под не подошёл
без страха
что сквозь темь вселенскую
лишь только бросит в небо взгляд
его как бабочку в коллекцию
мечтой нездешней
пригвоздят
предзимнее
перекрестив метелью накроет сном
зимняя ночь под реквием волчьей стаи
больше вселенной злобный маленький гном
если кормить хорошо
к утру вырастает
вот и теперь я вижу что он сильней
день ото дня становится
жрёт паскуда
крохи последние скудной души моей
глупой души без надежды и веры в чудо
но огонёк какой-то горит ещё

тьмой окружён одиноко дрожит мерцая
если погаснет тогда уже точно – всё –
вновь не зажечь его
и никто не узнает
был ли вообще когда-то живым мертвец
маленький Будда почти позабытым летом
несший разгадку тайн меж раскосых век
не пожелав словами сказать об этом
Космос ночами ближе
Словно заморожён
счастьем –
замок прочен.
Время отдать должок,
хочешь
или не хочешь.
В хватке когтистых лап
гимны добру
немы.
Лучшая похвала: «мне бы твои проблемы».
Выпил всю кровь вампир – рифма-любовь,
Словом
перетасует мир
вышний крупье снова.
Пусть и не зная как,
знаю одно – выжил.
Если не облака,

Космос

ночами

ближе...

мы и небо

ищем руду не там, плавим в закатах неба,

красок полутонам веря как будто богу

и, закалив мечи светом ночного неба,

росами наточив, прямо с утра в дорогу

долгую, в не туда, к линии той, где небо

синее, как вода, сходит за край земли

где бы нам ни идти – это дорога в небо

шорох шагов затих, слышишь?

мы рядом прошли...

бабочка

в том что всё не находим рая

мы как будто и ни при чём

нас заботливо укрывает

чёрный демон

своим плащом

но сквозь дырочки в балахоне

нам доступен волшебный вид

мир как бабочка на ладони

шевельнёшься

и улетит

Маргарита Ротко. Фабрика светаг. Киев, Украина

В той, что на П...

...место, где свет исчезает и глохнут птицы,
место, где боль обжигает павлиньи перья,
словно горшки, на тёмных холодных гайках
и на гвоздях для фокусников нездешних...

Место, где звёзды такие в зрачках – хоть выпей!

Выпотроши до слепоты в сто взглядов
взгляд почерневший. Сядь на матрац и слушай,
как за закрытой дверью молчат драконы,
как за закрытой дверью хрипит полковник
(без переписки), как за закрытой дверью
воет река в безумие, а монашки
веру стирают в желчи офелий белых,
лилиеносных...

Слушай, салага, слушай!

Будь, как старик с верблюдом у белой башни,
будь, как старик с клюкою у белой марли,
будь, как загробный сон, – и зовёт, и пусто...
Будь здесь, а там – не будь: там, как вошь, раздавят...

Место, где стены шершавы, и трогать – больно:
словно личинку бога... нет-нет – как будто
склизких и шерстяных переспевших кукол,
гусениц жирных, налёт с языка моллюска,
кости зачахших тут дуриков, или крошку
игл...

Но смотри, дурашка, – какие звёзды
в этом яру!

В этой яме.

В пенатах боли,

лунной тоски и лимонной слезы на вздохах.

В той, что на П... – для гипюровых сумасшедших,

тех, что приходят в дождь вопреки прогнозам,

тех, что уходят в дождь, вопреки надеждам,

в место, где птицы светятся чем-то вечным,

а на земле исчезает на вечность свет...

Шершью

Зажигается свет – словно узкая лента бикини
меж загара от солнца, закала от ржавчины стали
и желтинки психозной на теле грустящей планеты...

Наблюдатель печали, вот – фильм.

Вот – безадресный домик.

Вот – окно, в темноту говорящее вслух о потере
черепашки Тепло.

Вот – стакан, что осушен, как топи
притрущобных болот.

Вот и профиль на сгорбленной шторе,
что, как скальп, развевается.

И порастрёпанный звук...

Это усики времени – шершшшшью – шуршат по бумаге,
будто бабочка – в лампочке из лепестков незабудок,
в одинокой каюте склерозной (от боли) путаны,
продававшей свой свет, как цукини – на площади Рынок
(и следы от исчадий, вбирающих злыми губами

этот свет, вместе с маслом желальным и дохлым салатом, оставались на коже, как след от бельишка пытальный на потрёпанных бёдрах и кремовых терпких заплатах на укусах москитов)...

В соломинку серую память

тянут белые псы (что туманом предутренним плачут),
тянут жёлтую память в соломинку томные барсы
в клетке хилой грудины, и тянут в соломинку двери
(как шакалы) ушедшую падаль...

А в комнату тихо

оппадают на пол сухоцветия звёздочных маков,
и кружение земли опадает, как кружево листьев
в предосенний вспотевший от страсти непрошенной
шторм...

Будто усики времени – бабочки в лампочках треплют
обгоревшей мечтой.

Как индейцы, крадутся вполтени

побывавшие некогда здесь сумасшедшие предки,
проскользнувшие здесь неумелые тёплые гости.

И теперь здесь – немыслимо тихо, до боли склерозно
и осенне.

Но только пока есть мерцание света,

в нём рождаются роем мошки времена и планеты
и живут параллельно к вот этой несчастной, и снятся,
и лелеют её в своих странных бесформенных снишках,
словно странного зверя по тихому имени Шершью,

что щекочет планету, как время щекочет его...

Фабрика света

*— Что же из этого следует? — Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.*

— Вы полагаете, все это будет носиться?

— Я полагаю, что все это следует шить.

Ю. Левитанский

... когда-то люди шили мифы про
людей, счастливей их... Но нитки рвались,
и люди оголялись, как земля — от солнца,
жались пуговками щек...

И билась жилка ветра у окна,
и чистотелом свет скользил по телу,
и опадал на тени на полу
хрустальным непрозрачным башмачком...

Двух инфузорий-туфелек полёт,
двух шёлкопрядов танец из стежочков,
двух паутинок листик (лист-ковчег),
плывущий в сны, в которых из воды
рубашки шьют, смиряющие сны,
и паруса шьют (как убийц — для штилей),
и шьют любовь, как дело — беднякам, —
никчемную,
сиротскую,
ничью:
примеришь — лопнет (плоско, не по шву),

намылишь – треснет (яблочным зигзагом),
уронишь – засверкает, как луна
в утопленном колодце под ведром...
Все фабрики, все бурсы белых рыб
(крылатых, с сонной «А» на сандалетах),
все радуги из зингеров цветных,
с клювастым синим в центре (видишь – клюв?),
стучат и строчат (слышишь этот гром?) –
для миллионов, выжженных в пещерах,
для глины и кувшинов, что в ребре
лелеют глину,
для костей и кож –
шьют нож и нежность с тёмным декольте,
шьют страх на тонких жестяных бретелях,
шьют ложь с карманом сердца потайным,
шьют молний спин застегнутых разрыв..
И мы несём их – блюдом лун – на лбу,
безумьем – в челке, и клеймом – в котомке,
вскрывая вены хлебу на клеёнке,
взрывая нервы наволкам седым.
А позже ткань сгорит.
И будет дым –
с нежнейшим ароматом чистотела –
окутывать тела, что носят тени
друг друга, словно ветер носит миф
о первом рае на тесёмках сна,

пришитом к людям — ниточкам из света,
не видящим ни света, ни просвета,
вслепую шьющим самый светлый свет.

Татьяна Китаева. Пять ***Московская область,
Россия**

*

Кому-то путь — от имени до отчества. Кому-то — славить
небеса с земли. А мы с тобой по облакам прошли — кочевьем
кучевого одиночества — как по нотам, остановились, согла-
шаясь — si! — в полжизни от земли и небосвода.

Горят посадкой желтые огни. Разрушен Карфаген и вос-
становлен.

И вязнут в вазе стебельки-пути.

И маков цвет комарно обескровлен.

Кому-то путь через сплошную И. Кому-то штраф за точки
над дорогой.

**

В морщинках простыней так много лжи — застиранной,
забывшейся, занозной.

И женщина разглаживает жизнь, ссутулившись под тяже-
стью вопросов.

А за душой — ни дня, а на душе — ни слова. Белеет про-
стыня и пахнет домом

чужим, другой судьбой, другой любовью. И женщина за-
глаживает болью.

Устали руки судьбы ворошить...

Но женщина разглаживает жизнь.

Сперва закончатся сигареты, потом вино, а потом неделя... Я буду хныкать, что надоело, начну стучаться в окошки ветром, и, как в дешевеньком сериале, растекшись нежностью и тоскою, красиво вздрагивая плечами, – полночи страстно молчать тобою. Смывая утром ошметки ночи, на автомате, сварю твой кофе. Застыв над чашкой, поймаю профиль, тобой мелькнувший, похожий очень.

Потом закончится даже это. И ничего уже не начнется. Я буду кутаться, как от ветра, я буду слушать, как он смеется. И без каких-то сюжетов жанра, и днем, и ночью, и днем, и ночью, я буду разной, я буду странной, я просто буду – и многоточье.

Когда закончится все и время, и многоточье точить устанет, ты вдруг отыщешь забытый берег. И завоюешь одним лишь «Таня...»

Сочится в замочную скважину замкнутый круг – вне всяких сомнений, восторженность не по плечу. Колечками ляжет оплаканный репчатый лук на блюдо, которое не записалось к врачу.

Найди себе преданней друга, будь с ним тет-а-тет. Для пущих предательств, конечно же, на брудершафт. Да ты не реви и не смейся. Привет есть привет. И осень тебя не заставит стыдливей дышать, когда сквозь беззубость стволов просту-

пают клыки, когда о душе бы пора, а они октябрят.

Как боль просыпается... Слышишь?

А боли не спят. И не караулят.

Они выше.

Kali Yuga

Я отведаю то, что когда-то могла творить, и тебя закольчую твоей и своей свободой. Я исчезну из жизни, но ты на меня не смотри – я стесняюсь, тушуюсь и просто не знаю брода, и не ведаю вед, не помню себя и все, что в последний период совпало с моим столетием. На прощание – можно? – тебя заласкаю бессмертием. И еще поцелую. ...Еще поцелую... еще...

Мир, как взятка, алеет потертостью от щеки. А война просыпается только – ей не к спеху. Если б мама сказала греку – не суйся в реку, может, и не завелись бы на дне рачки.

А бывает еще и так, что уже совсем. То есть перепись населению не грозит. Или чувствуешь – остается один санскрит. Или помнишь – останется лишь избыток тем.

Отведи мою душу, пожалуйста, отведи в наш последний, значит – первый период жизни. Извини, мне совсем не хочется быть капризной.

Отведи туда, где все еще позади.

Проза

**Виталий Щигельский. Из жизни большого театраг.
Санкт-Петербург, Россия**

...И или Они по Пустыне,

*и с собой у них были
театральные вешалки.*

Ненаписанное Евангелие

– Дедушка Мороз, а Кощей больше не будет мешать нам встречать Новый год?

– Нет, Кролик, он убежал в черный лес.

– Дедушка, а вдруг он заблудится?

– Нет, Машенька. Он исправится!

Кролик и Машенька засмеялись с надрывом: первый, как кастрированный старый дяденька, вторая, как увидевшая мышь старая тетенька. В зале тоже засмеялись, захлопали и запукали от восторга. И, кажется, дали занавес.

Все это время я сидел за сценой на стуле и подавлял в себе позыв к рвоте. Роль, конечно, не главная, но за Кощей мне отслюнявят восемь сотен рублей. Не так много, но впереди еще четыре квартирника в роли Деда Мороза. Долги, по крайней мере, раздам. Я встаю и по стенке добираюсь до туалета. Блюю черно-желтой желчью (значит, перед сном на автотопилоте съел полпачки активированного угля). Промываю рот. Вытираюсь салфеткой. Стараюсь дышать неглубоко. Не отпускает.

Хлопает дверь и появляется Кролик – артист Соловьев – бывший мой однокурсник. В перерывах между мелкими аферами с артистами-двойниками, он читает «Мцыри» в детских садах и распространяет билеты Театра кукол. Пока он хип-хопом подергивается у писсуара, мне приходит в

голову неоригинальная, но полезная мысль. Я превращаю ее в слова:

– Поздравляю, Серый. Гениальное перевоплощение.

– Не пи*ди, – ответил он. – Ты что говорил, когда я Эзопа играл в постановке Плешмана? Что тогда говорил?

– Не помню... – соврал я и блеванул еще раз.

– А я помню. Мудаком меня называл. Говорил, что и гримом не замазать во мне мудака.

– Брось, Серега, это белая зависть. Дай полтинник, через час получу и отдам.

– Вы мне смешны, – продекламировал Соловьев и, скрестив руки на груди, с гордостью уставился на себя в зеркало. – И вас колбасит.

– Ну и хрен с тобой, – я побрел к выходу, но Эзоп вдруг поддался.

– А вас, Штирлиц, я попрошу остаться.

Я выдохнул и повернул обратно: снисходительно улыбаясь, Соловьев вытащил из-под кроличьего хвостика бутылку крепыша:

– Так и быть. У меня, между прочим, съемки после елок наклеиваются.

Сколько знаю этого мудака, его постоянно куда-нибудь приглашают. Дальше проб, правда, дело не заходит.

Первые глотки давались с трудом. Винище перло назад, и мнегодились воля и навык, чтоб не пустить фонтан. Зато через пять минут мне полегчало. И мы добились бутылку за

следующий прихват. Соловьевская морда пошла пятнами – натурально линяющий кролик. Моя же рожа только слегка разгладилась, заблестели глаза, захотелось продолжить.

Мы поднялись в буфет Дома культуры, где играли. Занюханый, с интерьером двадцатилетней давности, такие мне нравились. Дети покинули его недавно: на столах лежали остатки сладкого. Наши – Поваляев (он у нас Дед Мороз), Марина и Дашенька (Снегурочка и Баба-Яга) – уже были здесь и бухали.

– Помните, восемьдесят девятый, премьера в Малом? «Чайка». Финал. Накал страстей, – гремел Поваляев. – И тут появляюсь я. И у меня штаны падают.

Все засмеялись, даже буфетчица. По-моему, она тоже втихаря поддавала. Эти бородатые шутки из жизни театра. Их тем больше, чем декламатор бездарнее. Проверено личным опытом. Восемнадцатилетним нахождением в артистическом мире, в театре и возле него.

Мы с кроликом усаживаемся рядом, выпиваем по стакану вина. Вино, потому что нет водки. По мне бы, конечно, водки.

Поваляев, не останавливаясь, гонит свои бородатые байки и, знай себе, ржет. Волосы остались у него только над ушами и на затылке, зато они вымытые и длинные и стянуты резинкой в косичку. У него крупная сократовская голова и большой картофельный нос. Он становится все менее импозантным с годами и все больше напоминает откормленного па-

сюка. Может, поэтому, его приглашают сниматься в телесериалы на эпизодические роли банкиров и политэлиты.

– И что же Губанский? Ну живет он во Франции. Уличный мим. Ничтожество. Жить нужно здесь, – Поваляев постучал своим мягким кулаком по столу. – Я думаю, вы со мной согласны.

Я выпил еще один полный стакан вина. Реальность разглаживалась, мне легчало, а Поваляева несло. Будучи студентом, большой, с зычным голосом, бантом на шее, в глянце-вых лакированных башмаках, он тогда уже давил всех своим авторитетом и избыточным весом. И теперь Дашенька и Марина не решались его перебить и согласно кивали.

– Вы говорите: Мейерхольд. Ха-ха-ха! (Дашенька захихикала.) Ха-ха-ха! Родись в наше время Мейерхольд, он и проявить бы себя не смог. Ничтожество, – Поваляев вытер пальцами пену со своих негроидных губ. – Друзья! Мне стыдно, что какие-то деньги завладели душами и умами людей. Друзья, вам не кажется, что мир катится к пропасти – искусство превращается в продукт, в красочно упакованную тухлятину.

– А мне нужны деньги, – негромко пробормотал Кролик. – Я делаю евроремонт.

– Сережка, ты совсем не изменился, все деньги и деньги, – обиделась на него Марина.

Марина... она занималась тем, что выходила замуж и разводилась. А в перерывах между замужествами, которые по-

чему-то особенно часто приходились на елочный чес, жила у меня. Мы с ней уже много лет работаем в паре на чесах. Я на спектаклях – Кошеем, на квартирниках – Дедом Морозом. Она – везде и всюду – Снегурочкой. Классная баба, без нытья и стервозности. Таким особенно не везет.

Про Дашеньку я знал немного, она не с нашего курса, просто однажды прибилась, и все. Не случайно, наверное. Все мы здесь, если подумать, не случайно нашли друг друга...

* * *

198* год. Я получил диплом и распределение в ***кий Театр драмы. Хорошо, что учеба кончилась. Меня утомили классические трактовки драматургии, банальные студенческие постановки а-ля «Вишневый сад» и «Дядя Ваня», уроки актерского мастерства в классе невыразительного, страдающего маразмом народного артиста Зиновия Остропупцева.

В Питере оставались работать «фамилии» – дети причастных и околопричастных к сцене персоналий и персонажей, либо обладающие ярким талантом и безмерным везением, но на большие роли все равно никто не рассчитывал. Среда искусства, как никакая другая, зависима от внешних воздействий и прежде всего от финансов. Со времен крепостного права она делится на кланы и касты и сторонних людей практически не принимает.

Возможно, я брезговал любой ценой просачиваться в систему, возможно, я лицемерил, думая, что лучше играть в

Урюпинске Гамлета или Зилова, чем «кушать подано» в Ленсовета. Для актера мужчины, на мой взгляд, есть две великие роли – Гамлет и Зилов. Сможешь сыграть их – и ты великий. Для педерастов – не знаю, у них свои труппы, свои театры, свои поклонники и методы перевоплощения тоже свои.

Я сошел на перрон ***ка, и мне показалось, что вскоре я завоюю Европу. Маленький чистый город в серых пятиэтажках, садах и заборах. Свежевыкрашенные разделительные полосы и свежие дымящиеся конские лепешки на дорогах. Нет светофоров и проституток. Есть театр. Маленький чистый город.

Главреж запомнился мутными мраморными глазами – от непрерывного питья, и черными ободками под ногтями – от работы на «приусадебном».

– На практику? – без интереса уточнил он.

– Насовсем, – я подал ему направление.

– Ну да, ну да, – главреж почесал подмышку. – «Турандотом» владеешь?

– В смысле? – не понял я.

– В смысле, что Степанов в запое, – главреж, казалось, поразился моей непонятливости. – Будешь играть сегодня. Вещь замысловатая, нудная, забудешь чего, не тушуйся, добавляй от себя. Чего смотришь? Роль как роль, и костюмы хорошие.

Вечером прошел мой дебют. Двадцать человек в труппе. Десять человек в зале. Я был удручен и напуган. После спек-

такля появился похмельный Степанов, и мы все нажрались.

Утром я болел на казенной жилплощади и не мог учить текст, пока главреж не принес подлечиться. Пить до одиннадцати мне еще не приходилось, но обстоятельства ломали традиции, и я, припомнив о собственном мужестве, выпил. Главный посидел, покурил папиросу, потом проверил мои зрачки и сказал:

– Играешь ты хорошо, но хотелось бы объяснить кое-что. Синька – большое зло, однако артисту без нее нельзя, это раз. «Утиной охоты» ставить нам не положено, театр не той категории, это два. Зрителей много у нас никогда не будет, это рабочий город, людям здесь жить и работать тяжело, это три. Это тебе не Москва.

И правда, с наступлением сумерек маленький чистый город на пару часов заполнялся хмурым сивушным людом в трикотажных спортивных костюмах или в пиджаках и брюках, заправленных в стоптанные кирзовые сапоги. Холостые танцевали на открытых площадках, прикладывались к горлышкам зеленых фугасов и от нечего делать дрались. Люди семейные пили тоскливо и чинно водку в дешевых рюмочных или на пеньках в ближайших кустах. К десяти вечера все исчезали. Утром их ждала тяжелая не по зарплате работа. Театр пустовал.

Я начал пить, чтобы не хотелось вернуться в Питер, где был зритель, но где мне не было места на сцене. Я научился пить с максимальным эффектом: «под сукнецо» и с «про-

кладочкой». И после спектакля часто ходил до своей хрущобы, перебирая руками по забору.

Я стал иначе пахнуть: как образованный человек из провинции – местные дворняги меня больше не облаивали и есть не просили. Я мечтал о поклонниках, и они у меня появились: дворняги и толстая некрасовская девушка, которая сидела в первом ряду и иногда приносила мне цветы, яйца и сырники. Вероятно, я казался ей талантливым и слишком худым. Она легко краснела, а ладони у нее были мягкие и большие. Но у меня все равно начались запои. Я не видел смысла в том, чтобы не пить.

Наконец я уехал, я продержался в городке полтора года...

* * *

Перемены я заметил с перрона. Везде шла торговля. Свободная торговля самодельными пирожками и джинсами, не доехавшими до пресса иномарками и потерянными людьми. Марина вышла замуж за серьезного человека, у него был свой банк. Соловьев разливал дома в ванной «столичную» водку. Поваляев посредничал.

– Могу достать все, – шептал он мне, воровато оглядываясь, сидя за столиком в кооперативном кафе в переулке Кропоткина. – Все! Но я мелочевкой не маюсь. Минимальная партия от вагона. Я тебя раскручу. Ищи свободные бабки!

Театром никто не занимался. Театром никто не увлекался. Публика культурной столицы расхищала соцсобственность

и смотрела черные комедии и порнуху. Я ничего не понимал в происходящем, жизнь походила на старую проститутку с размалеванным фасадом и осыпающейся песком бесформенной задней частью. Я перестал пить, лежал на диване и думал. А когда кончились деньги, разменял свою «двушку» на Васильевском острове на однокомнатную квартиру в Сосновой Поляне и барсетку с рублями.

«Пускай вокруг суета и смута, делай то, что умеешь, открой свою студию» – таким был мой план. Я арендовал угол (небольшой зал в помещении подросткового клуба) под экспериментальный театр. Ремонт делал сам. По ночам писал сценарий по мотивам «Голема» Густава Майринка. Я задумал удивительную постановку и в обозначенный мною же срок сообщил о своих планах однокурсникам.

– Ты, бродяга, совсем неглуп! – загудел Поваляев. – Я согласен участвовать.

Лучшего Аарона Вассертрума, чем я, не найдешь на всем постсоветском пространстве!

– И я, – сказал Соловьев. – У тебя не найдется какой-нибудь драматической роли для меня?

– Конечно, Соловей, ты же мой друг, – столь бурной реакции я не ожидал.

– Проводишь меня? – в свою очередь спросила Марина, когда ребята ушли.

Марина, в которую я всегда был влюблен.

– Да, – мне пришла в голову странная мысль: уж не ради

ли этой встречи с ней я все и затеял?

– У тебя кто-нибудь есть? – спросила Марина.

Боже мой, как она была хороша.

– Нет, – без колебаний соврал я.

– Ты знаешь, ты очень талантлив. Мы могли бы ужиться?

– Я был бы рад.

– Возьмешь меня?

– Да. И в жопу банкира.

– В жопу банкира!

Так началась моя новая жизнь. Ночью я любил Марину, днем подрабатывал продажей бананов с лотка, вечером с ребятами репетировал. Я жил в любимом Питере, у меня была любимая женщина и друзья, вместе с которыми мы занимались любимым делом. И пускай на премьеру к нам пришли неопрятные дивы, в бусах и в длинных платьях из мешковины, и бородатые, неуверенные в себе мужи – люди, не нашедшие достойного места в этом, похожем на большой балаган мире, – мы были рады. Наш театр стал для них отдушиной и приютом.

Тут очень кстати прибилась Даша и стала шить из ничего удивительные костюмы и делать потрясающий грим. И мы играли то, что хотели. Кафка, Уайльд, Достоевский – где вы еще это видели?

В жизни все хорошее кончается неожиданно. Как-то после очередного спектакля ко мне подошел, точнее, вылез из большой черной машины черный человек, одетый в женскую

шубу и сообщил, что его зовут Алсу. Он сказал, что нам нужно съезжать отсюда, потому что Алсу купил это помещение. Здесь будет ресторан, острая как кинжал восточная кухня. Сюда будут люди кушать-пить приходить, отдыхать, смотреть стриптиз.

С месяц я пассивно боролся: менял замки, ходил по инстанциям. Ребята один за другим разбрелись кто куда. В один прекрасный день не пришла ночевать Марина. Она позвонила только наутро и сообщила, что наши отношения кончились в силу объективных причин, что в Алсу она нашла тот самый стержень, который всегда искала в мужчинах, и будет жить с ним.

В знак протеста я продал свой патент, лоток и бананы и опять начал пить. Я стал искать свободу внутри. И написал сценарий для новогоднего представления, с которым меня взяли работать в ДК. Там проводились танцевальные вечера, имелись кружок флористов, кружок любителей ламбады и твиста, и просто собирались какие-то безумцы на спиритические сеансы, а некто в крашенных бороде и усах – жалкая копия Александра III – создал клуб монархистов. Моя активная деятельность начиналась в конце декабря и продолжалась по вторую половину января. Все остальное время в году я мог использовать по собственному усмотрению. Стоит ли говорить, что для воплощения перформанса я пригласил Дашеньку, Поваляева, Соловьева и Марину.

Точнее, Марина появилась сама, объявив, что это была

ошибка, что она любит только меня и что я самое желанное ее недоразумение на тонких ногах.

А дети... кажется, им понравилось. Дети – самые благодарные зрители. Мы заработали немного денег и несколько дней подряд пили, в головах у нас роились и множились колоссальные планы, которым не суждено было сбыться: когда деньги кончились, все опять разбежались.

Марина ушла за картошкой и встретила там очередного нувориша, в этот раз она даже не позвонила. Поваляев продолжил карьеру второсортного тамады на свадьбах и плакальщика на похоронах. Ему по наследству достались редкие гены – работа требовала помногу пить каждый день, а он не спивался и удовлетворительно выглядел, даже когда на макушке появилась внушительная проплешина. Соловьев грузил ящики с продуктами моря, от физических нагрузок он стал жилистым, прижимистым и злым. Однажды в порту он повстречал уроженца города Сарапула, неотличимого без медосвидетельствования от автора-исполнителя Юры Лозы, закодировал его от алкоголизма и обучил исполнению песни «Мой маленький плот». Не создавая лишнего шума, они стали гастролировать по Нечерноземью. Били их редко.

Я устроился подсобником в санаторий под Зеленогорском и играл на гармонии на физзарядке для престарелых, а по ночам писал сценарии и стихи, время от времени отсылая их куда следует. Надо сказать, безуспешно.

В общем, все мы как-то устроились, но каждому из нас,

кажется, не хватало чего-то, поэтому все мы пили. Когда я начинал чувствовать себя плохо, то переходил с водки на пиво, а когда жизнь казалась невыносимой – с пива на водку. А еще мы часто меняли места работы: иногда выгоняли, иногда по личным мотивам. Кое-кому из нас удалось сыграть три-четыре эпизодических роли в бездарных фильмах и разжижающих мозги мыльных операх. Студиям иногда требовались типажи сумасшедших, негодяев, бездомных и алкоголиков – тех, кем мы, собственно, были.

Так шла наша жизнь – от елки до елки.

* * *

В этом сезоне мы встретились снова.

Первой в мою жизнь ворвалась Марина. Она стала разве что чуточку старше, и ничего у нее не устроилось.

– Все богатенькие – подлецы, – вместо «здрасьте» сказала она.

Вместо того чтобы сказать, что я всегда знал об этом, я купил на последние деньги цветов, конфет и ноль-семь. Мы отметили помолвку и завалились спать. До траханья дело, правда, не дошло. Я давно понял, что нас связывают вещи более важные, нежели просто секс.

Мы вызвонили Дашу. Соловей и Поваляев обнаружились сами. Первый был на мели.

– Псевдолоза пропал, – объяснился он по поводу своего бомжового пиджака. – Я вот думаю, может, он и был настоя-

щий Лоза? Хотя это уже неважно. Кому теперь нужен Лоза? Лучше билеты на утренники продавать.

Поваляева прогнали со свадьбы.

– В первый раз в жизни решил сказать людям правду, – поделился он. – О том, что браки свершаются на небесах, а не в этих бляд*их загсах и ресторанах. Плебеи! Они разбили мне морду.

Подобные жалобы я слышал от них постоянно. Что и говорить, жизнь нас не баловала. И когда хотелось встретиться с нею лицом к лицу, она оборачивалась к нам жопой. Поваляев находил в этом что-то геройское.

И теперь я сидел со своими друзьями в буфете. Вино у буфетчицы кончилось. Но откуда-то взялся коньяк. Я в крайнем случае могу употреблять его без бутерброда с икрой. Лишь бы было что пить, лишь бы сидеть и слушать их разговор.

– Помните рекламу «мезим форте»? – щебетала сильно захмелевшая Дашенька. – Это мой смех там за кадром!

Вообще-то она молчунья.

– Дашуля! – гремел Поваляев. – Ты талант! Поехали с тобой жить в Европу. Трудно будет, конечно, покинуть родину великого Мейерхольда!

– Трудно, – Соловьев вытер слезу кроличьим ухом.

– Не плачь, Кролик, ты гений!

Я выпил еще стаканчик и улыбнулся. Мне было хорошо. Я смотрел на моих друзей с теплом и любовью. Было в нас

что-то такое особенное, настоящее что-то – то, что и для пьянки, и для разведки подходит. Не много таких людей на земле найдется. Мне было стыдно, что я черт знает что думал о них с утра с похмелюги. Я любовался Мариной и предчувствовал, что мы не поедем сегодня чесать по квартирам, а доберемся до моей однушки и будем ломать кровать...

**Наталья Анискова. Сайгонг. Новосибирск, Россия
1986, август**

Душно... Было по-питерски душно. Воздух, густо замешанный на утреннем тумане с Невы, дневном смоге, вечером запахе прогретого асфальта и ещё на чём-то неуловимом, крепко обнимал прохожих.

С улицы Салтыкова-Щедрина Славка повернул на Литейный. Позади остались величественный дом Офицеров, похожий на торт Преображенский собор, памятник Некрасову, кружевной фасад центрального лектория. На углу, на пересечении Невского с Владимирским – буква Г сорок девятого дома. Красноватые стены, полукруглые окна и тяжёлая дверь – вход в «Сайгон».

Уже лет двадцать строгие мамы заклинали подросших сыновей и дочерей держаться подальше от этого злачного места. Начиная с конца шестидесятых, здесь собиралась питерская богема. Художники, писатели, музыканты, наркоманы и фарца, студенты и просто бездельники – молодые и не очень. В «Сайгон» шли стилиаги, хиппи, рокеры, рафинированные кочегары и дворники. Мальчики и девочки из хороших се-

мей тянулись в «Сайгон», как сельдь на нерест. Сюда убегали от одиночества. Здесь писали стихи, читали конспекты, обменивались самиздатом, влюблялись и собирали деньги на выпивку.

Мамы заклинали, а дети, разумеется, поступали по-своему. Новые и новые поколения юнцов протирали штаны на низких подоконниках «Сайгона», которые использовались как скамейки. Сидя на них, пили кофе и вели умные беседы, узнавали о квартирниках и глазели на своих кумиров.

Славка толкнул тяжёлую дверь и шагнул вперёд, прищуриваясь. Жёлто-белым светили и подмигивали засиженные мухами длинные лампы дневного света. Похожие на паруса шторы наполовину закрывали окна. Зал казался вдвое больше оттого, что отражался в дальней зеркальной стене – говорили, что за ней прячется конторка с многочисленными микрофонами.

У стойки Славка разглядел Боба и направился туда, лавируя между столиками и редкими ещё посетителями. Жизнь в «Сайгоне» начиналась после пяти, когда приходили завсегдатаи. По утрам в кафе заглядывал случайный люд, с полудня до часу завтракали книжные спекулянты-перехватчики с Литейного. Затем обычная публика пила кофе – часов до четырёх. Сейчас вечер только расходился, набирал градус.

Славка добрался до стойки и хлопнул Боба по плечу. Тот обернулся всем корпусом, распахнул руки, заголосил комично:

– Сколько лет, сколько зим!

– Пойдём за столик, пока свободно, – предложил Славка.

– Пошли. Ты с нами, Пат? – повернулся Боб к стоявшей рядом девице, которую до этого загораживал от Славки.

Девушка оказалась... Ох, и оказалась! Славка даже сглотнул непроизвольно. Стриженная «под пажа», высокая. Тоненькая, но не тощая – изящная, как фарфоровая фигурка, сахарно-белокожая.

– Я тебя здесь не видел раньше, – сказал Славка, едва уселись.

– Видел. Но не замечал. Я была с Вольдемаром.

– Вот как? – Вольдемаром звали модного скульптора, специалиста по бюстам вождей. – И где Вольдемар?

– Кто знает, – Пат пожала плечами и вдруг взглянула на Славку в упор чёрными, в пол-лица глазами. – Я больше не с ним.

Славка чувствовал, как тонет к чёртовой матери в этих глазищах, как затягивает омут неведомого и знакомого откуда-то, почти родного.

– Споёшь? – подняла бровь Пат.

Славка кивнул. Боб молча подал ему гитару. Пальцы легли на привычные гриф и деку. И что-то включилось само собой. Славка был аккордом и словом, нанизывал мир на струну и повелевал им. Он целовал в губы жизнь и чувствовал, знал – всё ещё будет, будет...

И всё было. Квартирник у Люды Лосевой, и податливые

плечи Пат, и лютый мороз зимы восемьдесят шестого – были. Были вечера в «Сайгоне», полуподвальные концерты в занюханных районных ДК, ментовские облавы. Были демонстрации в девяносто первом, и стихийные концерты на площадях, и пьянящая мысль: «Вот теперь...» Были кипящие ртутью стадионы и девичий визг в залах, и девичьи же драки у гримёрок. Первая, она же последняя, «дорожка». Были похороны – Сашины, Витины, Янкины, Серёжины. Стук земляных комьев и недоумение: «Как же так? Куда?»... Было повторяющееся рефреном мамино «Скоро тридцать, Славик» и чудесным образом упорядочившая быт и бытие Оля. Был нескончаемый гастрольный «чёс» по стране... Всё было.

2011, сентябрь

В дверь гримёрки стукнули.

– Вячеслав Михалыч, время.

– Вижу! – отозвался «Вячеслав Михалыч», с трудом удерживаясь от желания хорошенько потереть глаза. Морда лица нарисована, и нечего по ней елозить. Сегодня не просто концерт – юбилей с кучей приглашённых музыкантов, которыми нужно рулить, съёмка для первого канала... За осветительскую схему и аппаратуру можно не волноваться – ребята мышей ловят. Осталось самому нормально отработать.

На сцене Славка осмотрелся. В зале – публика в пиджаках, упакованные гражданки средних лет. Аранжировка зазвучала плавно, потом запульсировала ярким крещендо. Обычно еще на проигрыше, с первых же тактов, начинался

свист, с первых слов начинали подпевать, потом затихали – чтобы не упустить. Сейчас помалкивали. Что ж, огромный зал «Олимпийского» поднять непросто...

Через служебный вход Славка выбрался на улицу и жадно вдохнул. Отыграл, с музыкантами попрощался, дальше администратор разберётся. На банкет не хотелось. На Ленинградский теперь, ночь в поезде и дома. Славка выбил сигарету из пачки, прикурил. Ночная Москва ухмылялась лукавой шалавой, подмигивала галогеновыми глазами...

Дома, как всегда, был порядок. Идеальный – ни пылинки. И, как всегда, было тихо, светло и уютно. Оля умела поддерживать чистоту и понимала толк в домашнем комфорте. Она вообще много что умела и во многом понимала толк. И вкус у неё был прекрасный, лучше, чем у Славки, намного лучше и тоньше.

Гостиная пепельно-белого окраса, кажется, в стиле «модерн», картины на стенах – кисти молодых художников, пока неизвестных, но непременно талантливых и амбициозных. Славка не сомневался, что через пару десятков лет каждая будет стоять приличных денег. Полотна были тщательно подобраны – так, что вместе составляли ансамбль.

– Ольга Игоревна будет к пяти, – выплыла из кухни Аллочка. Она кокетливо улыбнулась. – Завтракать будете, Вячеслав Михалыч? Или?..

Аллочку тоже подобрала Оля – в агентстве по найму прислуги, как и полагается. Молоденькая хохлушка была педан-

тично аккуратна, исполнительна, вежлива – идеальная домработница. Ещё она прекрасно готовила и криком кричала от наслаждения, когда отдавалась. Иногда Славка думал, что секс с хозяином входит в реестр оговорённых услуг. По этой части, в отличие от всех остальных, у Оли было явное отставание.

– Давай отложим «или», – ответил Славка. – Устал. Что у нас на завтрак?

Аллочка кокетливо поджала губки.

– Гренки и омлет, всё как вы любите.

Ольга появилась в пять, с ворохом пакетов, шуршащих чем-то дамским.

– Алла, это в спальню, – скомандовала она и прошла в гостиную. Упала в кресло, вытянула длинные ноги и заявила в пространство: – Алла, сок! Привет, дорогой! Нормально сыграл?

– Нормально.

Блондинка, при фигуре, с правильным славянским ликом – в сорок четыре года Ольга цвела зрелой женской красотой. Лоском, дорогой простотой облика жена на все сто соответствовала гостиной. Настоящая леди.

– Как там зал, прилично был заполнен?

– Прилично. От и до.

– Угу... – Ольга в задумчивости пощёлкала пальцами. – Так, через пару недель перечислят, и можно ехать...

– Куда ехать? – удивился Славка.

– Славик, ну что за «куда»? – обиделась Ольга. – В Финляндию. Дом смотреть. Я тебе год об этом говорю. Сколько можно жить позорищем... Я уже всё нашла, в Кемиярви.

– Ладно, в Кемиярви, так в Кемиярви, – не стал спорить Славка. Действительно, о покупке дома Ольга говорила не в первый раз, и если нашла – значит, нашла лучший вариант.

– Вот и договорились. Значит, так. В среду мы идём к Сивцовым на юбилей. В субботу у Шурика выставка открывается, надо быть, – Ольга снова щёлкнула пальцами. – В понедельник я сама, в четверг к Эльвире на просмотр.

– Какой ещё просмотр? – нахмурился Славка.

– Забыл? «Олива», режиссёрская версия.

– Это весь список?

– Пока весь, дальше я тебе потом скажу. Всё равно забудешь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.